

## Одесса — Париж — Москва Воспоминания художника

**От редакции.** Это отрывки из воспоминаний, которые подготовила и любезно предоставила редакции внучка А. Нюренберга, дочь писателя Ю. Трифонова Ольга Танган, живущая в Дюссельдорфе.

Амшей Маркович Нюренберг родился в 1887 году в Елисаветграде, умер в 1979 г. в Москве. Учился в Одесском художественном училище, жил в Париже, оставил книгу мемуаров.

### Профессор Бомзе



Амшей Нюренберг. Автопортрет

Одесса, 1911 г. Нежно-голубой вечер. Сажу на берегу моря и пастелью пишу белые с высокими охристыми парусами яхты. Вдали, под крутой синеющей горой, люди и дымок. Вероятно, готовят уху.

Для художника — романтическая тема. Вдруг позади меня громкий веселый голос:

— Наконец вас поймал! Полгода ищу. Есть для вас интересная и благородная работа — портрет моей покойной дочери...

— Охотно берусь.

— Приходите, договоримся. Вот мой адрес. Жду вас завтра в это же время.

Он оторвал листок из блокнота и карандашом быстро написал:

Софиевская, 16, квартира 8, профессор Бомзе. И, передав листок, бросил:

— Жду вас!

— Обязательно приду, профессор.

Затем, извинившись, что оторвал меня от творческой работы, растаял в вечерней голубизне.

Заказ перед поездкой в Париж был очень нужен, и я не заставил себя долго ждать. На второй день вечером я зашел к профессору. В его светлом кабинете, заставленном стеклянными шкафами, остро пахло нафталином и табаком. Пол был устлан выцветшими украинскими коврами. В углах стояли мощные гордые фикусы.

Профессор открыл один из шкафов, достал большой обвязанный шелковой лентой пакет. Дрожащими руками развязал его и с величайшей осторожностью вынул серо-розовое платье. Оно было подобно куску застывшего розового облака.

— Вот ее любимая шляпа, туфельки и фотографии, — сказал он упавшим голосом.

Я взглянул на него. Глаза его были полузакрыты, и кончики мягких усов вздрагивали.

— Может быть, не стоит рисовать портрет? — тихо спросил он. — Я думаю, фотограф не сможет воспроизвести ее тонкий облик. Как вы думаете? Я верю, что только художник-портретист сумеет передать ее образ и состояние.

Я молчал.

— Пишите, — сказал он полупшепотом. Он никак не мог решиться отдать мне в руки дорогие для него фотографии и вещи.

— Пишите, — повторил он, волнуясь. — Но вы не должны прикасаться к моим вещам. Это мое условие. Вы согласны?

Я согласился.

Каждое утро он в кожаном чемоданчике приносил платье, шляпу и туфли. Страхивал с них серебристые чешуйки нафталина и раскладывал все это на стуле. Потом он устраивался на подоконнике у окна, задумчиво разглядывая за окном цветущие белые акации. Много курил и изредка произносил отрывистые слова.

Он внимательно следил за моей работой и щедро давал советы. Критиковал, иронизировал, мешал мне сосредоточиться и уловить то неуловимое, что было в этих пожелтевших фотографиях и что видел он и не мог увидеть я.

Чувствовалось, что работа моя его волновала, что он жалел о затеянном. После сеанса он долго и осторожно укладывал вещи в чемоданчик и несколько минут, щурясь, простаивал около портрета.

Склонив голову, он глухо, с возмущавшей меня непочтительностью спрашивал:

— Штрихи останутся?

— Нет, их не будет. Это подготовка...

— Глаза уже сделаны? В них нет жизни! Это не ее глаза! Они не светятся! — у него начинали трястись руки, и я, подавив в себе раздражение его разговорами, начал снова переделывать и переписывать лицо его Леночки. Как-то, придя ко мне, он, волнуясь, спросил:

— Не думаете, что лучше было бы написать мою Леночку на фоне цветущих акаций. Это было бы очень поэтично! Вы изобразили бы два цветения.

— Впрочем, — добавил он шепотом, — не нужно теперь усложнять работу. Вы замучаетесь...

Поглядев куда-то вверх, он тоскливо продолжал:

— Да, вы правы. Кончайте портрет. Я не дождусь конца...

Немного погодя он повторил:

— А насколько это было бы поэтичнее показать две жизни, два цветения... девушки и акации.

Слишком трудную, почти невыносимую задачу ставил он передо мной. Меня утомляло его курение, раздражали высокомерие и равнодушное непонимание живописи, но я должен был закончить эту работу и получить за нее плату.

Больше всего я работал в минуты, когда он, досыта накурившись, впал в состояние, похожее на забытье. В такие минуты я выжимал из себя все, что мог. Палитра моя пестрела красками, и я радостно и быстро старался что-то поправить и улучшить.

Придя в себя, профессор тупо рассматривал портрет и снова начинал меня терзать.

— Нет, нет. Теперь для меня уже ясно: живопись — это выдумка.

И погодя, добавлял:

— Мы на разных точках зрения. Вы думаете о красивых колоритных красках, о подмалевках, о темпераментных мазках, а я мечтаю на холсте увидеть свою любимую дочь, дорогую Леночку... свою незабываемую Леночку...

— Бросьте работать! — сказал он после восьмого сеанса. — Ничего не выйдет. Даром время теряем.

Он подошел ко мне и истерически зашептал:

— Я пришел, чтобы забрать портрет, палитру и кисти... и все это сжечь...

— Как? — удивился я.

— Да, да, — заторопился он. — Я твердо решил это сделать.

Лицо его выражало решительность и злобу.

Глаза его горели, рот был сжат.

Я понял, что спорить с ним было бессмысленно. С грустью я решил попрощаться с неоконченным портретом. Ничего не выйдет. Но кисти и палитру, к которым я привык, мне стало жаль, и я попытался их спасти.

— Профессор, вы очень жестоки. При чем здесь палитра и кисти? Не трогайте их.

— Я не хочу, — сказал он, — чтобы вы ими кого-нибудь еще рисовали. Мне пришлось ему уступить.

Не глядя на меня, он торопливо вынул из бумажника три красных бумажки и дрожащей рукой бросил их на стол.

— Думаю, — сказал он сквозь зубы, — что этого достаточно.

Я отошел к окну.

Поспешно завернув в газету палитру и кисти, он одной рукой схватил чемоданчик, другой — портрет. И шагом человека, которого незаслуженно жестоко обидели, направился к двери.

## Лавочник-философ

Художественные материалы я покупал в небольшой лавочке, находившейся неподалеку от школы на Преображенской. Над входом висела яркая вывеска, вызывавшая во мне образ солнечной Африки.

Жену Шварцмана называли "тихой Рейзат". Это была рембрандтовская старуха с приподнятыми узкими плечами и покорными сияющими глазами. Она не любила длинных разговоров и умела в двух-трех умно сказанных словах выразить очень многое.

Детей у Шварцманов не было. Их заменили жившие на верхней полке пышные кремовые голуби и два сибирских кота.

Шварцман был философ, на жизнь и людей он смотрел сверху или сбоку. Он считал мир творением не бога, а черта и его приятелей. "Бог, — говорил он, улыбаясь и щурясь, — давно в отставке. Он, как старый николаевский солдат, живет одними воспоминаниями о боевом прошлом". Два правила — "ничему не удивляться" и "беречь сердце и желудок" — руководили всем его бытом и жизнью.

Эти правила он и мне старался привить.

— Вас все волнует, — говорил он, глядя в мое лицо мягкими глазами. — Не набрасывайтесь на жизнь, в ней ничего нет вкусного... Она дает одно изжогу.

Однажды я решил попросить у него взаймы немного денег.

В Одессе была весна, наполнявшая меня до краев, чудесная весна. В парках

цвели акации, сирень. Улицы были залиты густым ярко-желтым хмельным солнцем, а море так посинело, что казалось подкрашенным ультрамарином.

У меня завелась одна рыжая курсистка с бронзовым телом. Веселая, болтливая. Она умела ярко улыбаться и образно рассказывать о своей родине и детстве. Я ее часто рисовал на берегу моря на фоне облаков. Ей это нравилось, и она охотно позировала. Все шло хорошо. Но одно меня огорчало — это моя одежда, и особенно штаны. Они были ужасны: потертые у швов и промазанные красками на коленях. Буду краток. Мне нужны были новые штаны, хорошие тонкошерстные штаны рублей на шесть, а может, и семь. На толкучем рынке я встречал такие. Мне хотелось предстать перед моей рыжеволосой обязательно в победоносных штанах. Но где достать денег, чтобы купить их? И тут я вспомнил о Шварцмане. Он, я знал, меня поймет. Он добр. Я ему в грустных выражениях расскажу о моей драме. Он будет тронут. Я двинул к старику. Придав лицу печальное выражение, я зашел в знакомую лавочку. Мой трогательный тон показался мне убедительным. Старик меня внимательно выслушал. На его мягком носу дремали темно-синие очки. Шварцман, видимо, волновался. Но это хороший признак. После волнений у него наступала реакция, когда он добрел. Итак, я был близок к удаче.

— Друг мой, — начал Шварцман, медленно снимая очки, — я вам денег не дам...

И, подойдя ко мне мягкими шагами, ласково, но внушительно, добавил:

— И знаете, почему? Потому что я не хочу вас потерять.

Я недоуменно смотрел на его очки, стараясь через яркую холодную синеву стекол проникнуть в казавшиеся мне всегда освещенными добрым огоньком глаза. Заметив, какое впечатление произвели на меня его слова, он продолжал, растягивая время:

— Вы, я вижу, меня, друг мой, не поняли. Подумайте хорошенько над тем, чем кончится моя любезность. Я вам дам шесть или семь рублей. Хорошо. Получили — и адье. А потом? Потом знаете, что получится? Денег лишних, чтобы отдать мне долг, у вас не будет ни завтра, ни послезавтра, ни через год. Вы только не делайте больших глаз, как сова, — перебил он себя, — и слушайте меня. Вы меня начнете избегать, а потом возненавидите. Верно говорю? И все это за мое доброе дело... Так зачем мне делать глупость, если я могу ее не делать? Денька два будете дуться на меня, потом все забудете, словом — вы опять мой дорогой гость.

Он отечески мягким жестом протянул свои сухие бледные руки и, наклоняясь ко мне, шепотком произнес:

— Скажите, что я неправ.  
Я молчал.

\* \* \*

Шварцман имел свои взгляды и на живопись. Он любил со мною поговорить об искусстве. О его назначении и целях. Он посещал выставки, знал многих художников и следил за их работой.

Он наливал себе и мне большие граненые стаканы крепкого чая, клал себе три, мне два куска сахару и, прищулив глаза, начинал поучать меня. Очки лежали на столе, дожидаясь взволнованных моментов речи.

— По-моему, — важно начинал он, — большим художником может быть только портретист. Учись, мой юный друг, быть портретистом. Самое трудное и самое возвышенное искусство — портрет. Человеческое лицо.

Наступал момент жеста. У него был удивительный природный дар придавать своим жестам любой психологический характер и оттенок.

— Человеческое лицо... Что может быть более интересным и волнующим? Глаза, видевшие горе и несчастье, глаза, знающие, что такое слезы. Рот, который не только поглощал пищу, но и произносил проклятия, стонал и охал... Лоб, светящийся мыслью, духом сопротивления, критикой, или лоб, который обо всем передумал, все познал. В каждой морщинке есть своя жизнь, свои радости и страдания. Ничего нет интереснее человеческого лица, Пейзаж вещь хорошая, но он не знает, что такое страдание, а без страданий не может быть и глубоких художественных работ. Я люблю море, восхищаюсь лесом, речками, но скажите, если в лесу или у моря разбойники на ваших глазах нападут на вашу родную мать, изнасилуют и убьют ее — разве лес или море хоть единым движением ответят на это? У природы нет ни души, ни сердца.

— Поэты и художники другого мнения, — вставляю я робко.

— Поэтам и художникам можно так же верить, как весной девятнадцатилетней девушке. Слушайте дальше. Кто на этом свете больше всех страдает? Бедные и нищие. Поглядите хорошенько на них — и если у вас сердце не замусорено всяким хламом — вы меня поймете. Только бедных и нищих должен рисовать художник. Только их. Их лица интереснее, богаче лиц богачей...

Голос его становится глуше, словно отодвигается он все дальше и дальше. Опять пауза. Шварцман долго вздыхает и, покачав головой, задумчиво прибавляет:

— Если бы у меня был талант, я бы, как ваш Рембрандт, рисовал только бедных людей. Он понимал, что такое красота и где ее нужно искать. Мудрый был человек.

Шварцман учил меня также умению жить и работать.

— Художник должен быть похож на ученого рабби, — неспешно говорил он, подбирая и обсасывая слова. — Он должен с утра до вечера сидеть дома и работать. На разглядывание жизни и участие в ней он должен тратить только десять процентов. На еду, женщин и всякие другие удовольствия — тоже десять процентов, а остальные восемьдесят процентов должны идти на картины. Поняли, мой юный друг? Еще лучше, конечно, если художник на свою работу тратит девяносто процентов, тогда он наверное чего-нибудь добьется. У художника должно быть твердое, но не как камень, сердце и крепкий, ничего не боящийся желудок. С женщинами он может встречаться только раз в месяц.

Судьба каждому дает только один золотой. И нужно суметь его бережно и умно использовать. Один себе накупит детских игрушек и сластей, другой вина и паюсной икры, а третий — книг, учебников и простого житного хлеба. Каждый человек имеет свою дорогу, свои ямы и свою непогоду. Скажите, что я неправ?

Он умолкает, смотря на меня с подчеркнута нежной и иронической улыбкой. Наступает торжественная пауза. Выпив стакан чаю и неспешно вытерев свои прокопченные табачным дымом усы, он продолжает:

— Бог не вмешивается в такие дела. И не потому, что он стар и глух, а потому, что дела эти для него мелкие. Ум есть, глаза тоже — действуй по собственному разумению.

К концу его речи синие очки уже покоятся на горбатом носу. Он их бережно снимает и кладет на стол, рядом с сахарницей.

— Так, так, мой друг... Берегите вашу золотую монету. И если будете тратить ее, десять раз подумайте над тем, чего целесообразнее купить. Помните — другой вы уже не получите.

Я пристально гляжу ему в глаза. Спокойным и неподвижным взором он встречает мой взгляд. Бледные старческие губы улыбаются.

— Еще выпьем по стакану хорошего чаю? — с чувством спрашивает он.

— Выпьем, — радостно отвечаю я.

## Саша из "Гамбринуса"

Раз в неделю вечером к нам приезжал наш меценат и друг художников — инженер Оскар Мишкиблит. Он покупал у нас этюды и давал деньги на краски и холсты. Он брал двух извозчиков, усаживал на них всю

компанию (Юхневича, Фраермана, Бориса Успенского, Малика, меня и мою жену) и отвозил нас в известный в то время ресторан "Зимний садок". Там играл воспетый Куприным знаменитый Саша. Завидев нас, скрипач в знак радостного приветствия поднимал над головой скрипку и несколько минут торжественно держал ее.

Он знал, что мы художники, ценил и любил нас. Меценат Оскар заказывал для нас богатый ужин с пивом Санценбакера и свободной музыкой.

Нам казалось, что Саша весь вечер играл только для нас.

Мы без конца чокались с ним. Пили за его счастливый талант и бывшее здоровье, за его удивительную скрипку. Он много пил, но никогда не бывал пьян. Мы любовно разглядывали его глыбообразную фигуру с огромным животом, его выразительное женское лицо с выступающей челюстью и глубоко сидящими маленькими горящими глазами.

Мы его рисовали. На рисунках делали нежнейшие надписи. Он благодарно улыбался, но рисунков не брал. Он знал песни всего мира и передавал их со всеми присущими им национальными особенностями. Саша играл под сурдинку и речитативом напевал их. Его горячо любили моряки всех стран, он хорошо знал, как волновать их крепкие сердца. Часто мы видели, как здоровенный моряк-детина, сидя за столом с кружкой пива, под звуки его скрипки плакал, как ребенок. Особенно нам нравились две песенки, напеваемые беднотой. В одной — молодой человек упраскивает свою возлюбленную не прислушиваться к тому, что нашептывает ей ее недобрая мать. В другой — сапожник после выпитого стакана красного вина мечтает о завоевании мира.

Это был замечательный виртуоз трактирно-ресторанной музыки. Его удивительное творчество, приносившее нам много радости, запомнилось. Часто, чтобы поднять рабочее настроение, мы напевали сашины песенки.

## Нападение

В 1918 году в студии "Свободная мастерская", которой я руководил, занятия шли бесперебойно. Днем живопись, вечером рисунок. На рисунок (обнаженная модель) приходило много художников: Фраерман, Елисевич, Фазини, Гозиасон, Константиновский, Мидлер и Малик.

В Одессе жилось нелегко. После бегства немцев город был захвачен австрийскими оккупантами. В них было нечто опереточное. Они вошли в город с бравурной музыкой, разноцветными флагами и транспарантами. Смена оккупантов была бесперывной. Исчезли продукты. Рынки были



закрыты. Город лихорадило. Появились воры и налетчики, руководимые их вождем, косоглазым Мишкой Япончиком.

Как-то раз поздно вечером, возвращаясь из студии, мы с Фраерманом шли по Екатерининской и по обыкновению вели оживленный разговор на любимую тему — о Париже. И вдруг на углу Троицкой нас остановили два налетчика с револьверами.

Один громко скомандовал: "Стой! Руки вверх!".

Мы остановились. Подняли руки. Налетчики ловко и быстро начали нас обшаривать.

— Сема, — воскликнул один, — я у них в карманах нашел хлеб. Они говорят, что художники, но это голодранцы... Что с ними делать?

— Отпустим их, — разочарованно сказал другой.

Нас отпустили.

— Идите, только не оглядывайтесь, — раздраженно добавил он.

И они нас крепко выругали.

Нас спас хлеб, который мы брали для стирания угля на рисунках вместе с исчезнувших в городе резинок.

Пройдя шагов пятьдесят, мы остановились, оглянулись. Их и след простыл. Мы рассмеялись.

— Какое счастье, — сказал, радуясь, Фраерман, — что они не сняли с меня дорогое парижское пальто! Что бы я делал?

Поблагодарив судьбу за доброту, а воров за деликатность, мы весело распрощались и разошлись по домам.

## Одесские художники и море

Может показаться странным и даже невероятным, что одесские художники море не писали. Такие мастера, как Кириак Костанди и Петр Нилус ни одного морского пейзажа нам не оставили. Вспоминая, как-то в мастерской Костанди я случайно увидел небольшой этюдик, написанный, очевидно, для какой-то картины. Темно-синяя балюстрада и позади нее крохотный кусочек голубовато-розового моря.

— Это, — подумал я, — вся дань, которую Костанди отдал морю... Художник, который два раза в день проходил мимо моря (его дача находилась на 12 станции около моря).

Прожив рядом с морем почти всю жизнь, известный акварелист (в старом словаре он был назван королем акварелистов) Геннадий Ладыжинский написал только один большой морской пейзаж (маслом) "Пересып-

ский порт". Но и на этом пейзаже море было заслонено большим количеством кораблей и парусов.

Не писал также море певец одесской осени великолепный пастелист Дворников.

Другие одесские художники (малые мастера) — Головков и Бальц — увлекались больше романтикой одесского порта.

Долго я не мог понять, почему одесситы не пишут морских пейзажей, и только спустя много лет, когда я начал писать море, мне стала понятна причина их морефобства. Одесские художники любили море с его удивительной романтикой, восхищались им, часами просиживали около него и морские темы считали богатейшим живописным материалом, но они не могли освободиться от влияния старых олеографических традиций, которыми жили маринисты. Не было знаний, творческих сил писать море таким, каким его чувствует сегодняшний художник.

Они хорошо понимали, что море теперь нельзя писать так олеографично, как в прошлом веке писали Айвазовский, Судковский, Лагорио и одессит Попов.

Очевидно, нужны были новые, неакадемические средства выражения. Я убежден, что, изучив импрессионистские решения морского пейзажа таких новаторов, как Клод Моне, Эдуард Мане, молодые одесские художники, любящие море, писали бы его ярко, темпераментно и колоритно, и что фактура в их работах была бы богатой и красивой. Одесским художникам была чужда живопись с клеенчатой и стекловидной фактурой. Тогда и в одесских музеях висели бы звучные, гармоничные и романтические изображения моря. Полотна, которые напоминали бы сибирские самоцветы.

## **Профессора медицины — художники**

Все знают, что Одесса дала много выдающихся музыкантов, поэтов, писателей, художников, но мало кто знает, что Одесса дала группу видных профессоров медицины — художников. Это были не любители искусства, а видные ученые, профессионально занимавшиеся живописью.

Они активно участвовали в одесской художественной жизни: устраивали выставки с обсуждениями и организовывали изовечера с докладами.

Назову наиболее известных — анатома Лысенкова, автора известного учебника по анатомии. Он также написал пластическую анатомию для художников. К сожалению, учебник был напечатан в небольшом тираже и быстро разошелся. Достать его невозможно. Лысенков был последовате-

лем постимпрессионистов. И своими учителями считал Матисса и Гогена. Он писал преимущественно натюрморты. Писал он их в анатомическом театре, где на цинковых столах лежали анатомируемые им трупы.

Лысенков ставил столик, накладывал на него яркие южные фрукты и овощи и с большим завидным увлечением писал их, демонстративно показывая, что искусство у него на первом плане.

Своим друзьям он часто говорил: "Человеческая энергия неутомима. Нужно только ее чередовать". Свою нежную любовь к живописи он выражал шутливой фразой: "На том свете я буду заниматься только живописью. Анатомию брошу...".

Лысенков успешно участвовал на многих больших выставках.

Профессор Снежков читал лекции в университете о болезнях уха, горла, носа. Постоянный участник южнорусских выставок. Писал осенние цветы в ярких кувшинах. Краски у него были нежные, лирические.

Живописью также занимался знаменитый окулист Филатов. На выставках он редко выставлялся. Писал выдуманные им пейзажи и раздаривал их своим друзьям.

К этой плеяде медиков-художников надо отнести и профессора-кожника Николая Юхневича, бывшего члена общества "Независимых". Несколько лет назад в Одессе была его персональная выставка. Юхневич большой и тонкий поэт. Пишет портреты, пейзажи и натюрморты. Его пастели свидетельствуют о высокой живописной культуре и большом вкусе. Он много рисовал. Его рисунки выразительны и полны жизни. Он также успешно работал в области карикатуры.

## **Доктор Циклис**

Заболевая, мы обращались к известному доктору Илье Циклису — неизменному другу музыкантов и художников, которых он бесплатно лечил, согревал морально, а иногда и поддерживал материально.

Это он выпестовал и воспитал наших известных музыкантов: Ойстраха, Гилельса и Марию Гринберг.

Циклис недавно умер. Ему было восемьдесят шесть лет. Его хоронила вся любившая его Одесса, пришедшая на похороны с печальными влажными глазами и с большими букетами цветов.

Каждый, пришедший на похороны, тепло вспоминал его редкую, оставшуюся в душе светлый след доброту.

Молдавская беднота, которой Циклис отдавал свое сердце и очень

часто свои сбережения, приехала на улицу Розы Люксембург, где жил и работал Циклис, чтобы попрощаться с ним. Он умер, как и жил — просто и философски.

В предсмертные минуты он душевно попрощался с лечащими его врачами и друзьями, повернулся к стене и сказал: "Все кончено".

## **Зозуля**

1927 год. Париж. Улица Барро, гостиница "Сто авто". Первый за всю зиму снег. Рыхлый, жиденький. На один-два часа. Париж — романтический пейзаж, написанный молодым Клодом Моне. Тянет взять кисточку, но ноги и руки зябнут. И потом, поставишь мольберт и начнешь писать — а снег растает...

В моем рабочем районе поселился приехавший из Москвы писатель и редактор "Огонька" Ефим Зозуля. Он приехал отдохнуть, поглядеть Париж и поучиться живописи. В то время он занимался не только литературой, но и живописью, и хотел пожить "жизнью художника".

— Это была моя тайная навязчивая мысль, — говорил он.

Я постарался его "приклеить" к живописи. Показал ему Люксембургский музей, салоны и магазины картин. Зозуля себя чувствовал счастливым.

— Столько живописи, захлебнуться можно, — говорил он.

Особенно его интересовала современная живопись, живопись последних дней. Ему хотелось поучиться французскому колориту и фактуре. Он мне рассказывал, что в молодости мечтал быть художником. Много рисовал, писал, но жизнь оторвала его от живописи и бросила в литературу. В Париже он решил хоть на некоторое время вернуться к живописи. Когда я ему посоветовал поработать годика два и написать 25–30 полотен, устроить персональную выставку и показать себя, Зозуля, улыбаясь, отвечал: "Что вы, что вы, Амшей! Мне этого никак нельзя. Вы не знаете наших писателей. Это очень злой народ. Они тогда обязательно скажут, что настоящее призвание Зозули — живопись".

## **Мещанинов**

Среди русских скульпторов, совершенно слившихся с французской культурой, имя Оскара Мещанинова — одно из самых ярких. Тонкий, чисто французский вкус, острое чувство ритма и пластичности, большие знания ремесла скульптуры (современной и музейной) — характерные черты его творчества.

Мещанинов принадлежит к группе неоклассиков (Майоль, Деспю, Бернар), в лице которых он нашел своих первых учителей. Его работы не являются "сколками жизни", он не копирует натуру, являющуюся для него только трамплином. Его образы точны: они носят следы глубокого размышления. Его типы и жесты скромны и благородны, а средства выражения, которыми он пользуется, связаны не столько с характером и формой изображаемого лица, сколько с характером и формой самого скульптурного материала. Его знания музейной скульптуры (особенно готики) велики и строги и служат коррективом в его медленном и упорном труде. Работы Мещанинова следует рассматривать, прежде всего, как красиво обработанные массы камня и бронзы (влияние Бернара).

\* \* \*

В его понимании задач скульптуры чувствовалась большая строгая культура, вызывавшая восхищение. Мы всегда верили его благородному и возвышенному вкусу и удивлялись его безошибочным оценкам. Он недолго жил, но все созданное им свидетельствовало о большом крепко завоеванном творческом опыте. Часто я себя спрашивал: откуда в этом витеблянине такая высокая культура искусства?

Его ум, тонко отшлифованный парижской жизнью, меня покорял и согревал. Он чувствовал не только современность, но и будущность, о которой он говорил как о настоящем. Его доброта покоилась на двух принципах: на чувстве сердца и чувстве ума. Он любил людей всех видов и умел их завоевывать на долгие годы.

\* \* \*

Оскар Мещанинов родился в белорусском городе Витебске, городе, давшем русскому искусству Шагала и ряд других интересных художников и скульпторов. Первые уроки по скульптуре он получил в Одесском художественном училище (1905-1906). В 1907 году он отправился в Париж, где работал в школе декоративного искусства и мастерской известного скульптора Мерсье. С этой эпохой связаны его первые серьезные работы и первое участие в Салоне Национального общества. В 1911 году в Осеннем салоне появляются его три головы, две из бронзы и одна из азиатского мрамора.

В это время он под руководством оказавшего на него большое влияние Жозефа Бернара выполняет ряд ответственных декоративных работ. В 1914 году он уезжает в Россию. Живет и работает в Петербурге и Витебске. По возвращению в Париж в 1916 году Мещанинов со всей присущей ему энергией и волей приступает к ряду задуманных им больших и слож-

ных работ. Наступают годы кропотливого и упорного труда. Появляется его ставшие известными камни и бронзы. "Человек в цилиндре" (бронза) был выставлен в Осеннем салоне в 1922 году и обратил на себя внимание всего художественного мира Парижа. В этой скульптуре поражает необычайное сочетание нагого тела с цилиндром. Такую странность следует рассматривать исключительно как некий формальный замысел. Контраст между формой цилиндра и формой тела — и организуемая им гармония — вот главная идея автора. "Человек в соломенной шляпе" (бронза) относится к периоду 1922-23 годов. "Девушка с букетом" (камень) — следующая работа Мещанинова. Она была выставлена в Осеннем салоне в 1925 году и так же, как "Человек в цилиндре", пользовалась большим успехом. О ней критика писала: "Девушка с букетом" Мещанинова — искусство, от которого веет истинным благородством".

В 1926 году Мещанинов совершил поездку в Индокитай. В последние годы творческой жизни он страстно увлекался индусской скульптурой и готикой.

В 1928 году Мещанинов привез в Москву в дар советской власти свою скульптуру "Девушка с цветами". Работа находится в Третьяковской галерее.

О его творчестве написано много больших и малых статей во французских, немецких и английских журналах. Некоторые критики (Рамбоссон) причисляют Мещанинова к плеяде крупнейших мастеров современной Франции.

\* \* \*

Разбогатец, даровитый скульптор построил себе на опушке Булонского леса (Авеню де Пенн) двухэтажный особняк. Строил его знаменитый архитектор, новатор Ле Корбюзье. Это, кажется, был первый особняк, построенный в Париже еще не признанным гениальным архитектором.

\* \* \*

Мещанинов славился своим высоким вкусом и непотухающим жаром тонкого коллекционера. Он собирал новейшую, часто еще не признанную прессой живопись (это он открыл Сутина), индусскую скульптуру и восточную майолику. Но все это не так сильно его волновало, как русская музыка. Он мог долго горячо говорить об огромнейшей душевной силе Чайковского, Мусоргского, Стравинского и Прокофьева. У него была большая коллекция пластинок русских опер, песен и романсов. Он любил заводить патефон и под звуки старой и новой русской музыки лепить свои великолепные скульптуры. Мещанинов дружил со всеми выдающимися скульпторами и живописцами нашего времени и стремился привить им

страстную любовь к русской музыке. Чтобы ближе общаться с русской музыкой, он женился на талантливой пианистке — дочери известного дирижера Купера.

## Последние записи в дневнике (1975-1979)

Когда я в молодости карабкался, взбирался на гору и часто уставал, мой друг Валентин мне поучительно говорил:

— Все нормально. Ты создаешь свою карьеру.

Жизнь, точно сон, быстро промчалась. Я постарел. Надо было спускаться с горы. Я цеплялся за травы и камни, мечтал только об отдыхе. Валентин опять поучал меня:

— Все нормально. Ты ищешь угла, чтобы отдохнуть от своего труда. Быть ближе к небосклону.

\* \* \*

Мы встретились у подножия горы. Я спускался, он поднимался.

\* \* \*

Живу, точно затерт льдами.

\* \* \*

Результат оказался неожиданным. Я остановился на полуслове. Не могу работать. Не тот душевный настрой.

\* \* \*

Страдания бывают разные и по форме, и по содержанию. Их так много, что сосчитать невозможно. А радости даются редко и в граммах. Точно небольшие таблетки от головной боли.

\* \* \*

Судьба меня поселила на теневой стороне улицы и всю жизнь обещала переселить на солнечную.

\* \* \*

Tout casse, tout passe.

\* \* \*

Члены группы известной РОСты имеют право вне очереди на Ваганьковскую дачу.

\* \* \*

Русская матерщина меня три раза спасала от смерти, а может быть, в лучшем случае, от инвалидности.

Первое знакомство с французским языком (когда я жил в Париже) мне принес Мопассан. Я выучивал целые страницы по методу моего друга Ме-

щанинова. Второе знакомство мне дал мешочек с письмами двух влюбленных. Этот мешочек я нашел во дворе моего отеля в мусорном ящике.

\* \* \*

1975. Москва. Яркий образец (человеческой) художнической зависти. Недавно в Союзе (МОССХе) ко мне подошел пожилой человек.

— Товарищ Нюренберг? — спросил он, заглядывая внимательно в мои глаза.

— Да, вы не ошиблись, — ответил я.

— Никак не соберусь передать вам. А ведь четверть века уже прошло.

— Приятное?.. Готов вас слушать.

— Очень приятное, — сказал он и задумчиво улыбнулся. — В 1945 году я был на вашей персональной выставке... Был и Кончаловский. Он стоял перед вашей картиной. Потом отошел и дружески сказал: "Талантливый художник!".

Это было несколько месяцев после войны.

\* \* \*

О деревьях:

Однажды, делая на базаре наброски, я обратил внимание на одно очень некрасивое по форме дерево. Оно показалось мне уродливым и ин-



Выставка в Москве. 1960 г. Полина, Ольга, Нина, Амшей



валидом. Но когда я близко к нему подошел и начал внимательно его разглядывать, ничего от болезненного уродства я в нем не нашел. И тогда я понял, что нет уродливых деревьев. В каждом из них есть своеобразный благородный стиль, дух. Ни уродства, ни убогости, ни нищеты не бывает. Даже будто бы в самом жалком дереве вы почувствуете гордость, мужество или достоинство. Эти характерные черты свойственны в какой-то мере и форме.

\* \* \*

Как умирали мои друзья-художники:

У Осмеркина дрожали пальцы, его клонило ко сну.

Он мечтал держать в зубах папиросу и умереть обязательно "а ля" Сезанн с кистью в руке. Так и случилось.

Перельман плакал, мечтая выплакать у Судьбы еще годик, чтобы окочиваться на Верхней Масловке и на своей даче, восхищаясь своим богатством.

Федя Богородский хотел напевать себе веселую песенку и работать в форме матроса...

\* \* \*

Черное море бывает ласковым и приветливым. Но если разъярится — беда. Описывать не буду.

\* \* \*

Был и я когда-то молод

Верил и любил.

Но когда и где —

Не помню,

Все теперь забыл.

\* \* \*

Счастье найти человека, идеалом которого является доброта.

\* \* \*

Язык шахматиста:

Я потерял преимущество, упустив пешку, и проиграл.

\* \* \*

Никак не мог одолеть свое самолюбие и старался не оглядываться по сторонам.

\* \* \*

Сердце и мозг наизнанку. С первых дней моей мечтательной жизни дружил с иллюзиями. Наш идеализм был прекрасен, но чрезмерно наивен.

Прошлое для меня, как материал для критического анализа собственных действий. Я черпал в прошлом вдохновение для грядущих дел.

\* \* \*

Жак Малик ведал, как дружить с "обжорками". Мне никогда не доводилось так плотно и сытно обедать.

Хозяйева отелей попадались крутые на расправу.

\* \* \*

Он словно старался привязать меня к жизни и искусству. Он будто все время старался подкрасить мои полинявшие мечты и надежды...

Весной, когда воздух был напоен сильным ароматом цветов, я стремилась в музеи, чтобы вобрать в себя новое и обогатиться образами импрессионистских мастеров... побыть рядом с ними и подышать их творчеством.

Долог и тяжел был этот путь.

\* \* \*

Не надо мечтать,

Надо в очередь стать.

И если счастье, увидев меня,

Улыбнется, значит, звезда надо мной проснется.

Надо, друг мой, в очередь

Стать и молча ждать.

\* \* \*

Когда просыпаюсь и вижу солнце, не хочу умирать!

Публикация Ольги ТАНГЯН

